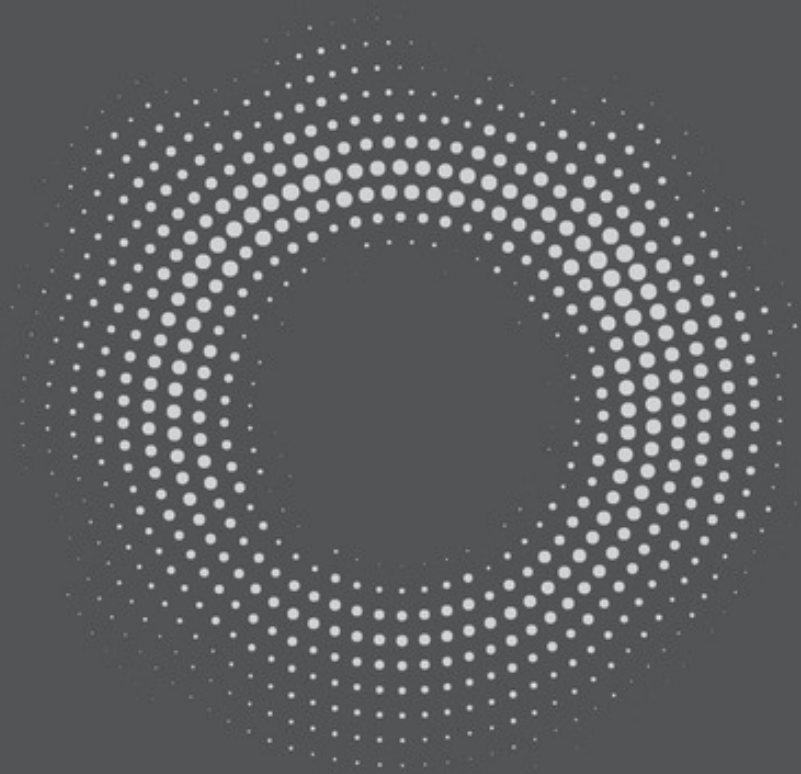


Малек Яфаров

---

ПРОЩАЛЬНАЯ  
ПОВЕСТЬ ГОГОЛЯ



Русская философия



**ТОПОС**  
литературно-философский журнал

Малек Яфаров

**Прощальная повесть Гоголя**

«Издательские решения»

**Яфаров М.**

Прощальная повесть Гоголя / М. Яфаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-963538-9

Исследование жизни и творчества Н. В. Гоголя. В основание труда положен принцип целостности личности и новое понимание матриц русской культуры. Такой взгляд позволил преодолеть партийно-академическое восприятие Н. В., и главное — раскрыть его жизнь и творчество как осознанное и максимально реализованное служение, центральное место в котором занимает его главное произведение — «Прощальная повесть». Представлена критика главных советских гоголеведов — И. Золотусского и Ю. Манна.

ISBN 978-5-44-963538-9

© Яфаров М.  
© Издательские решения

## Содержание

Введение	6
Русская культура	8
1. Ущербность гоголеведения	8
2. Матрицы русской культуры	10
3. Живой опыт	13
4. Видения	15
5. Служение и литература	16
6. Вера	17
7. Смерть или «Прощальная повесть»	19
Произведения Н. В. Гоголя	21
1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832)	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Прощальная повесть Гоголя

**Малек Яфаров**

Иллюстрации М. Шагала.

Лицензия на использование иллюстраций предоставлена Alamy Stock Photo. Оформление С/М.

© Малек Яфаров, 2019

ISBN 978-5-4496-3538-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Яфаров Малек Куддусович. Родился в г. Москва. Закончил философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Восходит на небо, ведомый духом, и в твердом дерзновении души своей зреньем чудных тамо наслаждается вещей».

«Расхлебень – раскрыть настежь, распахнуть:

*Сидит баба на юру*

*Расхлебенивши п-у».*

*Из записных книжек Гоголя*

## Введение

В этой работе я предлагаю первые опыты исследования русской литературы, которые основываются на принципиально новом типе методологии, полагающим литературу не общественно-историческим, а целостным культурным феноменом. Контекст современности меняется: сегодня новые формы общественной жизни полагаются не на фрагментации, делении на сословия, классы, группы, сообщества и борьбе между ними за власть, а наоборот, – на приоритете взаимодействия равноправных индивидуумов в едином культурном пространстве. Поэтому мой опыт должен быть свободен от любой идеологической платформы; более того, одной из специальных задач исследования стало раскрытие ограниченного характера отечественного литературоведения, которое сегодня стремится скрыть то, что ещё совсем недавно, в советское время, оно считало своим главным методологическим преимуществом, своей «научной» основой, – партийность.

Советское, партийное, или идеологическое литературо- и культуроведение работало с литературой как с частью общественно-исторического процесса, основным содержанием которого была классовая борьба, или, более точно, – исторически прогрессивная роль пролетариата; соответственно, творения и даже саму жизнь русских писателей совкритика оценивала прежде всего в отношении её «объективного» места в коммунистической парадигме. В результате наше литературоведение превратило Гоголя в обличителя пошлой и реакционной природы самодержавия и крепостного права, Толстого – в зеркало русской революции, Достоевского – в обличителя социальных извращений в предреволюционную эпоху, Чехова – в того, кто показал полное вырождение дворянства как класса, и т. д.

Такое восприятие русской литературы сначала российскими, а потом советскими специалистами было неизбежно и определялось тогда общественно востребованной необходимостью быть социально определённым, принадлежать к некоей группе, сословию, классу. Сегодня такой необходимости нет и никто не обязан быть представителем сообщества с некоей идеологией, а потому русская литературная критика и культуроведение могут расти на новой основе, – неангажированной личности в едином культурном континууме. Сейчас принято высокомерно подсмеиваться над этим, между тем воз и ныне там – двоемыслие стало естественным.

Моё исследование феномена Гоголя стало возможным именно благодаря снятию общественного диктата партийности. Вот этапы развития русской критической мысли, всегда идеологичной: российский (XIX – начало XX в.), российско-советский (начало XX в.), советский (с 20 до 90 гг. XX в.) и, наконец, советско-российский (конец XX – начало XXI в.). Последовательная идеологичность критики привела к одностороннему, фрагментированному подходу к литературе, а опосредованно, через социальный контекст и стиль жизни, язык, образование, масс-медиа, кино и театр, – имела гораздо более широкий общественный эффект: отечественное литературоведение разработало партийные принципы восприятия и переживания русской литературы каждым.

Такая матричная инсталляция восприятия в значительной мере сузила видимый человеком горизонт литературы, существенно ограничивая полноту его содержания и придавая ему заранее заданный характер, в результате чего читатель до всякого чтения уже как бы знал, что именно он будет читать и как ему следует воспринимать текст, который он собирается прочесть. Благодаря этому человек в литературе узнавал себя прежде всего социально-ангажированным типом и только через призму лояльности доминирующей партии – русским человеком.

Я поставил себе задачу увидеть соотечественника вне какой бы то ни было идеологии, напрямую, как носителя культуры. Результатом такого взгляда стала полнота восприятия и переживания русской культуры как единого континуума, как торжества жизни и торжества

смерти, обращённых к каждому вне зависимости от его социального положения, национальности, образования, веры и т. д.

Оказалось, что наша литература, насколько это было возможно, с самого начала своего возникновения жила вне партийности; более того, одной из определяющих целей было для неё сохранение единства русского континуума, единства, которое разрушалось под идеологическим прессом за счёт выделения некоего группового общественного приоритета вопреки целостности. Сегодня у нас появляется возможность не только разработать новую, более целостную методологию изучения нашего наследия, но и воспринимать и переживать русскую литературу во всей её полноте.

Я взялся за исследование творчества Николая Васильевича Гоголя, открывая этим задуманный мною философский цикл о русских писателях, прежде всего, Л. Н. Толстом и Ф. М. Достоевском, увидев, что специфика русской культуры как особого типа индоевропейской цивилизации, предъявленная ими, ускользнула от тенденциозно очерченной зоны критической мысли, как и сама жизнь великих наших соотечественников.

В этой книге использованы Собрание сочинений Н. В. Гоголя в 8-ми томах под общей редакцией В. Р. Щербины. Москва. 1984 и В. Вересаев «Гоголь в жизни». 1990.

# Русская культура и Гоголь

## 1. Ущербность гоголеведения

Причину, по которой не открылась для критического взгляда полнота жизни и творчества Н. В. Гоголя, я вижу вполне объективной, поскольку для того, чтобы сделать это, необходимо уже достаточно хорошо и всесторонне представлять себе фундаментальные особенности русской культуры. А без понимания формирующих основ нашей культуры в широком смысле, то есть как особого модуса современной индоевропейской цивилизации, никакое полное восприятие и понимание Гоголя невозможно. Поскольку нам в наследство досталась только идеологическая традиция русской истории и культуры, то сегодня, по существу впервые в нашей науке идентичности, встаёт задача свободного от какой бы то ни было идеологии и основанного только на прямом интересе и внимании к своей собственной природе как русских, изучение основ культуры страны, в том числе, – изучение наследия Николая Васильевича Гоголя.

Если в XIX веке исследователи ещё пробовали ставить вопрос о необходимости раскрытия и изучения особенностей русской культуры, то в XX в. такой задачи уже не ставилось, поскольку советская критика разработала свою собственную, партийную, весьма действенную методологию и поэтому намеренно ограничивалась фрагментарным и расщеплённым исследованием произведений и биографий писателей. Особенно заметно эта ущербность выразилась в отношении восприятия и понимания Гоголя, поскольку без знания специфики русской культуры он представляется слишком загадочным, слишком фантастичным писателем и человеком.

В России процесс самопознания и самоидентификации только-только начался в первой половине XIX в., несколько позже, чем на западе, поэтому современникам жизнь и творчество Гоголя не удалось увидеть в должной целостности. Позднее, во второй половине XIX в., процесс самопознания расщепился на несколько внешне не связанных и даже внешне противоречащих друг другу направлений, которые с некоторой условностью можно разделить на два основных. Во-первых, направление, ориентированное на западную культуру, которое можно назвать прогрессистским, в диапазоне от либерализма до революционности, и, во-вторых, направление традиционное, сохраняющее приоритет наличного положения вещей, в диапазоне от прямой реакционности до реформизма. Однако оба этих направления опирались на одни и те же основания, то есть на одни и те же идеи о том, что представляет из себя русское государство, русское общество и русская история; отличались же они друг от друга прямо противоположным отношением к этим идеям. И те, и другие относились к положению дел в стране отрицательно, но западники требовали решительных нововведений, прежде всего европейского толка, а почвенники и славянофилы, наоборот, возврата к истинно русским традициям. Оба направления страдало одним и тем же предрассудком: они полагали, что уже знают существенные особенности собственной культуры, а именно: для них она представляла собой прежде всего – патриархальность, духовность или православность, самодержавность, крестьянскость, вселенскость, отсталость и тому подобное. Начиная с середины XIX и в XX веке русское литературоведение уже было по преимуществу идеологичным, то есть выражало или, что-то же самое, обслуживало интересы побеждающего политического направления. В итоге в литературоведении, как и в истории России, победила партия западная, воспринимавшая себя наследницей критического творчества Белинского, в результате чего Гоголь в нашей критике и культуре стал комиком, сатириком, гениальным обличителем омертвевшей,



## 2. Матрицы русской культуры

Чтобы было понятно, в каком контексте я рассматриваю жизнь и творчество русских писателей, я сделаю необходимое философское пояснение. Факторы, формирующие континуум русской культуры как один из трёх модусов современной индоевропейской цивилизации, будут раскрыты здесь ровно настолько, чтобы в предварительном, но, тем не менее, достаточно определённом виде можно было изучить наследие Н. В. Гоголя как целостный культурный феномен и раскрыть его как истинно русское.

Решающая матрица русской культуры, унаследованная от древней цивилизации, являет себя как единство всего живого, как направленность внимания на жизнь всего как стихию творения, стихию становления всего как живого. Такой направленности нет в западной культуре, где доминирует предметное внимание, обращенное к взаимодействию отдельных предметов, в силу чего стихия становления воспринимается как трансцендентная сила, неконтролируемое творение, «вещь в себе»; отсюда заточенность западной культуры на контроль за деятельностью человека. На востоке же вектор внимания обращён на созерцание (бессубъектность), поэтому «предметом» востока становится согласованность безличных элементов; это заставляет восточную культуру стремиться к максимальному уменьшению и даже аннигиляции воздействия человека на мир как искажающего законы вселенной (дао).

Только русское внимание прямо направлено на стихию жизни, на творение (обратите внимание – творение, а не творчество), на становление всего в стихии жизни. Это определяет наиболее существенные особенности нашей культуры:

1. Направленность внимания на становление всего заставляет русского человека воспринимать всё существующее как равное, независимо от того, большое оно или малое, благородное или низкое, красивое или безобразное; принцип русского – «всё равно», Гоголь выражает этот принцип так – «всё трын-трава». Например: казак, на которого обратил внимание Тарас Бульба при въезде в Сечь, расположился спать прямо на дороге в богатых, но нарочито испачканных шароварах, или продолжительный трепак Хомы Брута перед последней ночью отпевания панночки-ведьмы.

2. Равность всего существующего заставляет русского человека не строить какие бы то ни было предметные иерархии, поэтому на Руси царь-государь не больше простого мужика, вся земля не больше клочка земли, слон не больше моськи. Н. В. Гоголь определяет этот принцип следующим образом – «всё тут же» или «всё, что ни есть». Например: в «Ревизоре» Бобчинский просит Хлестакова рассказать о своём существовании государю, каковой, кстати, посмотрев пьесу, заметил это; в «Вие» – отпевание панночки философом в церкви, где вместе с иконами – полчища чудовищ, гномов, упырей; или рассказанный Гоголем случай молебна в борделе. В его записной книжке цитата из святых отцов соседствует с похабным стишком. Здесь можно добавить, что в русской непартийной литературе не может быть никакой темы «лишнего» или «маленького» человека, поскольку в русской культуре малое не меньше большого, а большое не больше малого.

3. Торжество, красота и величие жизни не могут быть отделены, разделены, отчуждены от торжества, красоты и величия смерти; смерть, как и жизнь, составляет необходимую часть всего сущего; как и в древней русской цивилизации, которая рассматривала смерть как переход в другую жизнь и никогда не воспринимала её как врага, как нечто ужасное в отличие от неужасной жизни. Смерть – сестра жизни; Н. В. Гоголь своей жизнью, творчеством и смертью говорит нам не только – «нет ничего торжественнее жизни», но одновременно – «нет ничего торжественнее смерти».

4. Направленность на творение создает восприятие творения как торжества, как непобедимого шествия всего сущего, как величия всего живого, это торжество наполняет все, в том

числе – поздние произведения Гоголя. Личное чтение им чужих и своих произведений было наполнено таким величием, что приводило его слушателей в состояние восторга, в состояние избытка, наполненности жизнью, а не удовольствием от чего-то предметного.

5. Внимание к стихии жизни заставляет нас не предполагать по преимуществу развитие наличного, не выбирать в нём нечто для себя значимое, то есть вообще не иметь каких бы то ни было предпочтений в происходящем: жизнь выбирает сама, что в этом станет для русского живым и значимым. Мы говорим как Платон Каратаев Толстого, речь которого течёт самым говорением, даже без памяти сказанного; у Гоголя русские именно таким образом «заговариваются» или даже завираются: Хлестаков, Ноздрёв, дама, приятная во всех отношениях, и др.; вообще для стихии русской речи не характерно повторение, воспроизведение, одинаковое описание.

6. В единстве всего живого сущее воспринимается как одно, любимое, родное, сердечное; русский не может не любить всего и вся, не может не воспринимать всё чистосердечно, просто и радушно. Гоголь оставил нам образы Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича как образы истинно русских людей, относящихся ко всему по привычке, невольно, даром, или, как говорит Толстой, по «привычке от вечности»; характерно дословное совпадение в определении существа любви русского человека и у Гоголя, и у Толстого – «привычка», означающее естественное, само собой живущее, не намеренное, ничем и никем не понуждаемое простодушие.

7. Отвращение внимания от единства всего в направлении отдельности каждого и слишком сильная устойчивость этой предметной фиксации неминуемо превращает русского в «человека в футляре» (А. П. Чехов), заставляет его воспринимать принятые «ограничения пространства, времени и причинности» (Л. Н. Толстой), то есть отдельность собственного существования, как окончательные, неотменяемые ограничения; это совершенно невыносимое, тягостное, тревожное, скорбное состояние, в котором наша «сокровенная порода» окостеневаёт, мертвеет.

8. В единстве всего живого любое место превращается в «миргород», в «мирный уголок», в «незаколдованное место», в котором ни одно желание не выходит за его пределы, потому что в нём всего довольно; в «мирном уголке» всего в изобилии, хватает всем, кто сколько бы ни взял; таково имя Товстогубов.

9. В единстве культурного континуума все воспринимается как одно, поэтому нет фундаментального основания для института собственности; у русского нет ничего своего предметно-отдельного. Холстомер Л. Н. Толстого удивляется – за всех нас – тому, что человек может не только называть, но и действительно воспринимать что-то своим, своей собственностью.

10. Таковое мирозерцание защищает даже самое малое в своей земле, поэтому, как простодушен русский в мире, так же простодушен он и в войне; он не воюет с кем-то и не защищает своё, потому что у него ничего нет, а, действительно, воюет только тогда, когда кто-то или что-то посягает именно на единство всего: своя же жизнь, а уж тем более своя собственность нас не интересует; Тарас Бульба воевал за отчизну, веру и товарищей, а не за себя, свою семью или собственность.

11. Постоянное внимание, направленное на стихию становления, волит саму жизнь, волит происходящее как живое и принимает происходящее как дело своей воли: русский волит всё, не воля ничего, он волит саму жизнь, а жизнь сама выбирает то, что она наполнит собой; он ничего не выбирает, а только внемлет тому, что выбирается самой жизнью, поэтому решения Н. В. Гоголя – не его личные, а самой жизни, они «выпеваются сами собой, как выпеваются русские песни». Он наполнился живым языком, всем тем, что отложилось в языке за тысячелетия русской истории и что ожило теперь в его судьбе; то, что наполняет сама жизнь, не может нести в себе никакой «страстности» в смысле «неспокойных порождений злого духа», как говорит

Гоголь, а только «верховное торжество духовной трезвости»; даже смех жизни – это веселие, это сама жизнь, а вот смех человека может быть уже делом злорадства, но это другое.

12. Особенности русской культуры порождают и особую технологию её восприятия и переживания, которую почти все наши писатели – Николай Гоголь, Лев Толстой, Александр Блок и др., определяли очень сходным образом: полусон, дрёма, забытьё, живой сон; Гоголь выделил в «полусне» в качестве главной матрицы восприятия – «соображение всего». А именно: при удерживании во внимании всего содержания существующего, необходимо равное отношение к каждому его элементу, духовная трезвость и спокойное состояние, в результате чего сами собой выделятся те элементы и в том их сочетании, которые покажут всё «живым фактом». Гоголь разгадывал эту науку с молодости, замечая особенности своего восприятия, в котором русское узнавание себя другим было особенно живо.

13. Направленность внимания на стихию жизни заставляет русского человека переживать себя всем сущим и, следовательно, узнавать себя в другом; для русского мир гармонизируется и наполняет его жизнью, радостью и веселием только тогда, когда он воспринимает, узнаёт кого-то как живого, тогда он жив сам.

Этого достаточно для того, чтобы создать основу для восприятия наследия Н. В. Гоголя как целостного феномена русской культуры.

### 3. Живой опыт

Ранние годы Гоголя развернулись в насыщенном жизнью семейном пространстве. Детство и отрочество он провёл в Васильевке: с бабушками и дедушками, родителями, братом и сёстрами, дворовыми людьми, крестьянами, животными, садами, лесами, рекой, небом, ночью, землёй, песнями, сказками, поговорками, пословицами, шутками, плясками, ярмарками и т.д., и т.д., то есть именно с полнотой жизни в «мирном уголке», в «нарочито невеликом месте». Покидая милые сердцу места, сначала уезжая на учёбу в Полтаву, потом в Нежин, он всей душой стремился вернуться обратно, в стихию этой буколической, тихой, незаметной сельской жизни, которая однако внутри себя, в себе, в кругу была так полна веселья, радости, любви и простодушия, что желания юноши не простирались во вне, ему было достаточно этой жизни, он был полон ей.

Именно это насыщенное чувствами настроение и послужило основой «Вечеров на хуторе близ Диканьки»; человек не может в достаточной мере знать себя, пока наполнен чем-то, для узнавания себя и, соответственно, для того, чтобы иметь не то что талант, а даже возможность рассказать об этом, он должен получить уже какой-то другой, отличный от пережитого опыт. Отлучаясь из дома и возвращаясь обратно, молодой Гоголь приобретает этот опыт, пока, наконец, совсем не переезжает в Петербург, после чего уже может действительно в полном объёме не только воспринять и оценить, но и рассказать о пережитом.

Отечественное литературоведение полагает, что Н. В. писал «Вечера на хуторе близ Диканьки», основываясь на фольклоре, воображении и прочем, тогда как русский писатель, конечно, технически используя все эти возможности, пишет из своего личного опыта и только этот опыт даёт чувствующему человеку переживание торжества и величия жизни, увлечения стихией всеобщего действия – свадьбы или ярмарки, упоение майской ночью или восхищение приднепровой степью. Это может родиться единственно в матричном культурном переживании, которое одно только может заставить душу воспринимать или переживать нечто как торжественное или упоительное; испытав такое упоение, рассказчик уже потом, после этого, может использовать песни, сказания или народные сюжеты.

«Миргород» же мог быть написан Гоголем только после того, как он уже достаточное время прожил этой столичной, новой для себя жизнью, после того как он служил, преподавал, писал и публиковал. То есть «Миргород» появился как результат сравнения нового и старого жизненных опытов, что я особенно хорошо вижу в «Старосветских помещиках»; принципиально важно здесь то, что не только на земле русской постепенно исчезают «мирные уголки», но и в самом Гоголе начинают утихать жизненные силы «Вечеров», он прекрасно это чувствует, понимает и не может не сожалеть об этом.

Попав в столичную, городскую, просвещённую среду, примерив на себя известность и даже славу в обществе, особенно после «Ревизора», Н. В. с некоторым ужасом обнаруживает себя – точно таким же, как и все его окружение, то есть человеком, бегущим от жизни, от всего живого, как только сталкивается с ним, о чём он пишет матушке в письме. Гоголь ощущает, что в нём закрывается и ослабевает источник радостного, торжественного, само собой бьющего жизненного веселья; он обнаруживает и себя, и других творящими зло, творящими не по умыслу, а невольно, в увлечении «неспокойными порождениями злого духа». Смех самой жизни человек превращает в злорадство, побуждение к добру – в меркантильность, заботу о себе в эгоизм и мир меняет свои цвета.

Таково основание всего замысла «Мертвых душ» – рассказать о личном опыте омертвления, который испытывает каждый русский, если не развивает в себе заложенные нашей исконной культурой и, следовательно, живущие в нас светлые, «сокровенные начала русской породы».

Таким образом, можно выделить несколько этапов жизни и, соответственно, творчества Н. В. Гоголя:

- «Вечера на хуторе близ Диканьки» – простая, сельская, простодушная жизнь;
- «Миргород» – воспоминание о старом русском свете, описание русского «мирного угла», его обитателей и защитников и сожаление о том, что эта жизнь необратимо меняется;
- «Ревизор» и городские повести – личный опыт городской жизни, веселие и радость которой постепенно полностью перекрываются меркантильностью и страхом смерти;
- «Мертвые души» – горестная оценка омертвения собственной души, угасания сокровенных основ русской жизни, но и ясная надежда, но и действительное «осветление» даже самых, казалось бы, окаменевших, застывших в своём развитии душ;
- «Прощальная повесть» – намеренное, осознанно выбранное предстояние смерти, но не как завершение, а как апофеоз, предельная высота жизненного пути.

## 4. Видения

Решающими для разворачивания понимания всего жизненного пути Н. В. Гоголя высветились особые события, которые он называл – «душевные явления», «необыкновенные, чудные события», «душевные обстоятельства», то есть то, что мы привыкли называть «видениями», однако здесь следует ясно различать, что для русского человека видения имеют специфический характер, отличный от распространённого среди нас западного смысла визионерского опыта. А именно: в западной культуре видением обозначается восприятие человеком некоторого содержания как посланного ему иной внешней ему, возможно, высшей, трансцендентной силой. Для нас же по сути нет ничего внешнего (в культурном, конечно, смысле), тем более, нет видений, посланных трансцендентной силой; видения русского – результат его воления жизни, русский видит то, что показывает ему жизнь как его воление, он не может знать, предполагать, предугадывать, что оно ему покажет; первым так это обозначил Л. Н. Толстой.

Ещё в отрочестве Гоголь, потрясённый смертью младшего брата, начинает воливать смерть, не хотеть смерти, а именно воливать, то есть направлять своё внимание на смерть, которую ему предъявляет и разворачивает жизнь, стихия творения и становления. Когда, вскоре после смерти брата, умер и отец Гоголя, то у юноши были видения блистательного огненного ангела в виде прекрасной женщины, которые позже он опишет в «Женщине» и во многих других местах, например, в «Тарасе Бульбе» и «Вие». Скорее всего, уже тогда он понял, что это видение смерти и что это видение будет много значить в его жизни, но что именно, ему было тогда еще не понятно.

В Петербурге, через некоторое время после того, как он туда переехал, с ним происходит следующий случай: в некоей конкретной женщине, с которой он знакомится, видимо, при странных обстоятельствах, возможно, как Пискарев даже в борделе («Невский проспект»), он узнаёт своё прекрасное видение, что производит на него сильнейшее впечатление: как минимум, он понимает, что у него не может быть семейной жизни, о которой он, как Чичиков или Подколесин, немало мечтал, и, как максимум, что ему предстоит скорая или особенная смерть.

Правильно, конгруэнтно, во всей полноте воспринимать литературу и поступки Н. В. Гоголя можно только с учётом этих очень для него важных и решающих обстоятельств, в результате которых великий писатель начинает понимать, что его призванием станет смерть, точнее, возвращение смерти в культуру жизни, восстановление утерянного феноменом смерти места в целостности русской и даже общечеловеческой культуры, возвращение феномену смерти его действительного места в единстве всего. Смерть как дело любви, как сестра жизни.

Третий раз видение произошло с Гоголем в Вене, когда он уже окончательно понял, какое именно служение, какое подвижничество ему предстоит.

Я хочу пояснить, что на практике как партийное, в том числе коммунистическое, так и церковно-конфессиональное мировоззрения к видениям человека относятся одинаково негативно, хотя и по разным причинам: для церкви видения – это не целостные человеческие переживания (состояния), а экзальтация, прелесть, соблазн, обольщение человека, для идеологии – это индивидуальные извращения, функциональная патология.

## 5. Служение и литература

Русское и советское литературо- и гоголеведение настаивают на том, что своим истинным и единственно значащим служением Н. В. Гоголь полагал литературное поприще; биограф и критик Ю. Золотусский считает, что Гоголь даже умер поняв, что исписался! обычно такими объяснениями изживаются собственные внутренние проективные представления.

А Гоголь предьявлял в качестве своего служения вполне простые и понятные смыслы:

– служение обычное: быть хорошим человеком среди близких и в обществе, быть хорошим христианином, честно служить, исполнять на своём месте свой общественный долг, будь ты государь или инвалид;

– служение личное, именно и только данного человека; своим служением Гоголь воспринимал то, на что призвала его жизнь: возвращение феномену смерти его подлинного места, для чего требовалось видеть её живую, постоянно в течении всей жизни удерживать во внимании красоту, торжество и величие смерти, чтобы в какой-то момент быть готовым к тому, чтобы увидеть, воспринять, пережить её во всей её полноте и совершенстве, «заживо предстоять вечности», как говорил Н. В. Без понимания этого Гоголь превращается в странного, загадочного, фантастического человека, а его произведения – только в смех над пошлым, пасквиль, карикатуру и фантазмагорию.

Таким видением смерти Гоголь служит своему народу, потому что мы, русские, отчаянно нуждаемся в возвращении торжества и величия смерти. Страх своей смерти, восприятие смерти как тьмы, как врага живущего и чудовища заставляет каждого русского человека не только просто бояться смерти, но и слишком цепляться за свою жизнь, и это приводит к тому, что люди начинают невольно творить зло. Восстановление утраченного древнего единства жизни и смерти, исчезновение страха смерти и вызываемого этим страхом зла – вот что полагает своим служением Гоголь, полагает не сам, не внешним внушением, а всем единством, всей целостностью своей жизни.

Как только мы открываем то, в чём заключается для Н. В. его служение, вся жизнь Гоголя – его скитания, отказ от имущества и собственности, литература, письма, театр, и, наконец, «прощальная повесть», приобретают глубокий, последовательный, понятный и сопереживаемый смысл. Более того, мы до сих пор, а прошло уже почти два века, не только не начали ту культурную работу, которую начал Гоголь, но даже не знаем и пока ещё не хотим знать того, что она нам предстоит. Если, конечно, мы собираемся жить полной культурной жизнью, которая невозможна без – намеренного, продуманного, осознанного отношения к смерти. Без культуры смерти.

Н. В. Гоголь показал нам, что смерть каждого человека – это «общее дело» всех, что мы, русские, не должны оставлять человека одного в его предстоянии смерти, в страхе, мы должны начать новый культурный опыт – «живого предстояния вечности», живого опыта предстояния смерти. Пока мы не развернёмся в эту сторону, над нами будет довлеть ужас смерти и неизбежно сопутствующий ему приоритет отдельности своей жизни, а это пагубно и для русской культуры, и для русского человека в онтологическом смысле.

## 6. Вера

В нашем литературоведении Н. В. Гоголя принято наделять неким стандартным набором качеств «настоящего художника»: ранней серьёзностью и зрелостью, мнительностью, скрытностью, фантазмагоричностью, экзальтацией (особенно религиозной), противоречивостью. Здесь помогло бы удержаться в рамках достоверности внимание к тому, что этот человек сумел заставить народ веселиться и смеяться, и даже император, критики и наборщики в типографии не избежали тёплого обаяния его «Вечеров...» Такая радость никак не могла быть порождением сумеречного духа. Недоумение у гоголеведов не возникает потому, что для них именно такой – странный, скрытный, неврастеничный человек и есть образ настоящего художника, гения.

Партийное и особенно советское литературоведение должно быть весьма благодарно разработанному Белинским представлению о том, что творчество и человек отделены друг от друга и потому в критике стало возможным так интерпретировать жизнь писателя, чтобы рассматривать его творчество отдельно от него самого, игнорируя черты, которые не вписываются в «нужную» тенденцию. Отделив человека от того, что он делает, совкритика закрыла себе понимание таких важных вещей, как уникальность веры Гоголя. Когда не отделяешь его человеческую жизнь от того, что он делал и писал, то как раз и видишь совершенно нормальное, последовательное возрастание, взросление человека в той вере, в какой он родился и воспитывался. Пережитые смерти брата и отца ускорили и углубили его развитие в вере, а сопровождавшие эти события видения – осложнили.

Для меня очевидно, что процесс действительного воцерковления, насыщения, сначала по необходимости, ритуальных действий соответствующим содержанием проходил у ребёнка обычным образом, как у всех, кто рос в православном мире, в православной семье. Поэтому в отношении Н. В. Гоголя к вере не было никаких странностей и непонятностей: он с детства был православным, насколько сначала ребёнок, а потом юноша, а потом молодой человек и, наконец, взрослый, зрелый человек может быть православным; в его духовном развитии нет сбоев, нет каких-то специальных особенностей естественного накопления опыта верующим человеком.

Даже его видения вполне органично вписываются в его религиозные переживания, для Н. В. эти видения не были чем-то выходящим за пределы его и других веры! Он никогда не воспринимал это как ересь и сектантом себя не считал. Наоборот, наличие несомненных свидетельств того, что его вера жива и даёт свои плоды, ещё больше укрепляло его дух; здесь нет никаких противоречий, всё очень последовательно и понятно. Постепенно Гоголь всё больше подчиняет свою жизнь проясняющемуся для него способу служения своим соотечественникам.

Другое дело, что эти соотечественники могут совершенно не понимать служения Гоголя, более того, не только не понимать, но наверняка даже осуждать, в том числе и церковь; однако, это не становится для него решающим аргументом, поскольку и его литературные и публицистические произведения были восприняты этими же самыми людьми совершенно не в том смысле, какой в них вкладывал сам писатель: дело было не в том, что в его произведениях было что-то не так, а в том, что явно что-то не так было с самими людьми!

Н. В. Гоголь видел, что изъян был в человеческом сознании: как они не понимают «Миргород» и «Ревизора», так они не воспримут и «Прощальной повести»; он был очень трезв в оценке того, как «прочтут» эту повесть современники, поэтому служил им вполне бескорыстно, не надеясь получить от них точно понимаемого признания и примирения, что, конечно, очень хотелось бы такого человеку, который чуждался всякой вражды в личном общении с людьми.

Почти всех его героев хоронят без сочувствия и многих даже без обрядов (кстати, это в книге Юрия Манна «Поэтика Гоголя» подмечено верно). Если вспомним философа Хому Брута, то, хотя он и сделал то, что мало кому под силу – отпел смерть как чудовище, но в результате никто ничего не заметил и даже о месте этом забыли. А ведь именно панночка-смерть выбрала Хому-Гоголя для этого священнодействия! Когда стало приближаться время исполнения этого служения, живого предстояния Ангелу Смерти, Н. В. всё больше внутренне концентрируется, готовя себя к предстоящему подвигу; люди замечают изменения в нём, но в абсолютном большинстве воспринимают поведение Гоголя как чрезмерную экзальтированность, что подхватили наши гоголеведы, которых мне хочется назвать «гоголеводами».

Я утверждаю, что без понимания решающего служения Гоголя, его прощальной повести, его подвижничества, невозможно адекватно судить о его отношении к вере.

## 7. Смерть или «Прощальная повесть»

Подвиг русской земли, шедевр русской культуры – «Прощальная повесть» Н. В. Гоголя осуществлена им решительно и в то же время удивительно просто; это не был спонтанный порыв, всё было тщательно подготовлено. Анонсирование «Прощальной повести» Гоголь разместил в своём «Завещании», которое открывает опубликованную им в 1847 году книгу «Избранные места из переписки с друзьями». «Завещание», обращённое ко всем соотечественникам, обеспечивало автору максимально возможное ожидание всеми «Прощальной повести».

В самом «Завещании» он назвал «Прощальную повесть» «своим лучшим произведением», ещё более повысив градус внимания и интереса; объяснил, что это не поучение, не пример для подражания, а его служение (наследие, наследство) всем русским людям, что повесть нельзя прочесть, но можно услышать только сердцем, что он её не выдумал, что она родилась сама в сокровенных истоках русской культуры и русской породы, в которой все русские – родственники. В заключение Н. В. написал, что «Прощальная повесть» может явиться только по смерти, значит, до исполнения сказать об этом больше ничего нельзя и закреплением, подтверждением его повести-служения служит именно его смерть; да и в самом названии – «прощальная» уже заключен этот смысл: своей «повестью», то есть смертью, Гоголь прощается со всеми своими соотечественниками. Завещание написано сразу после «венского случая», который русские гоголееды считают болезнью писателя, но мне очевидно, что основным содержанием этих событий было видение, которое, похоже, окончательно удостоверило Гоголя в том, какое именно служение ему предстоит и, возможно, даже со знанием его срока. Состояние и видения Н. В., о которых рассказал ходивший за ним русский купец, не порождение болезни; само видение так сильно потрясло его глубиной, величиим и торжественностью открывшегося ему «замысла», «сюжета» его «сокровища», как называет он свою «Прощальную повесть», что он физически изнемогал под избыточностью этого впечатления.

Прощальная повесть – не литература, а если и литература, то только в смысле литература жизни, а не жизнь литературы, это повесть самой жизни Гоголя, поэтому полагать литературу самым важным делом для него, как это делает абсолютное большинство наших критиков, значит самого существенного в этой жизни не видеть. Так Игорь Золотусский внушает нам, что «судьба его – быть прихлопнутым обложкой недописанной книги». Какое презрение и слепота «главного» биографа Гоголя!

С момента «венского видения» жизнь Н. В. неминуемо наполняется переживанием и подготовкой к предстоящему служению, подвигу, в котором литература занимает довольно отдалённое место; предыдущие исследователи правы в том, что «Прощальная повесть» относится к «Избранным местам из переписки с друзьями», но только в этом, очень ограниченном смысле, не более того. Насколько объёмна, тотальна, как говорят сейчас, предстоящая великому человеку задача, настолько он стремится расширить свой и других кругозор во взгляде на жизнь в целом.

«Избранные места...», как и вообще все свои литературные, драматические, публицистические, научные и эпистолярные произведения Гоголь рассматривает лишь как часть, элемент более всеохватывающего служения людям. И действительно, культурная задача восстановления торжества и величия феномена смерти, восстановление разорванного континуума русской культуры, в котором смерть превратилась в чудовище, которое преследует человека, гораздо более для всех значительна, существенна и грандиозна, чем любая литература, театр или публицистика.

Мы не знаем, было ли четвёртое и последнее видение, которое определило окончательный срок «Прощальной повести», но, скорее всего, оно было, косвенным свидетельством этого служит изменение решения Н. В. ехать на свадьбу сестры, посещение им Оптиной пустыни

и отмеченные многими перемены в его поведении. Сейчас мы всего не знаем, но и этого вполне достаточно; Гоголь оставил нам всё, что нужно. Привести в исполнение задуманное и то, что готовил десятилетия, он должен был обязательно на людях, хотя, конечно, ему намного легче было бы сделать это в уединенном месте, но, как и Остапу Бульбе, ему пришлось смотреть на смерть живым на людях, в обществе, так, чтобы его намерение было засвидетельствовано, пусть даже неосознанно, без понимания (или даже с пониманием того, что он – сумасшедший).

Конечно, «Прощальная повесть» – не демонстрация намеренной смерти, ни в коем случае, принародность была её условием, но не содержанием; люди должны были видеть, зафиксировать, пусть не понимая, то, что потом, в будущем, на которое только и надеялся Н. В., станет людям понятно. Содержанием этого великого действия было удержание живого, полного любви внимания на смерти во всей её полноте, величии и ужасе! Гоголь знал и предвидел всю степень страха, который предстоит ему испытать, так как ему придётся иметь дело со всеми теми чудовищами, семена которых он посеял в течение своей жизни и которые, тысячекратно усиленные, предстанут и будут терзать его как его собственные порождения. По сравнению с этим ужасом предстояния порождённым им самим монстрам, то, что его мучили непонимающие его люди (и друзья, и доктора), пытавшиеся насильно его лечить, было гораздо терпимее для него, имеющего очень большой жизненный опыт непонимания себя окружающими. В качестве некоторого своего утешения Н. В. Гоголь в последнем варианте «Тараса Бульбы» описал, что смерть Остапа, которого мучают и пытаются враги, видел его отец – Тарас Бульба; сам он такого утешения не получил: ни отца, ни твердого понимающего его человека рядом с ним не было. Соотечественники и друзья, «Прощальная повесть» Гоголя живёт в нашей русской культуре, живёт в нас, не как литература, а как тот жизненный опыт, который мы ещё в себе не знаем, но который сегодня начинает приоткрываться нам во всей своей красоте, ужасе, величии и простоте.

## Произведения Н. В. Гоголя

### 1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832)

Переживание и восприятие жизни как торжества, великолепия, упоения, сладострастия – это прямое наследие древней цивилизации, проявленное в русском человеке совершенно невольно, естественно, само собой, по привычке. Это матричное состояние стало субстратом ранних лет Н. В. Гоголя и задало поэтику его мировосприятия; оно же стало основой написания «Вечеров».

*«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землю, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблок, грии; его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»*

Пафос здесь не в лирических отступлениях, не в карнавальности, не в комизме, не в сатире, не в фантастичности или, наоборот, повседневности сюжетов и персонажей, на чем настаивают наши литературоведы, он явно – в торжестве и величии жизни, полноте «одной и той же жизни» (Б. Пастернак), жизни всего. Творение, сущее не озабочено отдельным, оно наполняет существующее собой естественно, невольно и непринужденно, от избытка. Здесь не место мелочности и измерениям. Жизнь не прикидывает, не спрашивает и не требует; заставлять и выбирать ей чуждо также. Она наполняет всё до краёв, по максимуму, без ограничений и условий, предельно; не отделяя хорошее от плохого, высокое от низкого, малое от большого, красивое от безобразного, наполняя собой всё сущее.

Поэзия Н. В. Гоголя – это музыка безусловной и бескрайней жизни, величия и торжества творения, взламывающего любые опрокинутые на него человеком границы, как бы тот ни пытался убежать и скрыться от этого.

Сущее не преследует человека, не связывает его обязательствами и не стесняет ограничениями. Русская поэзия в том, что живой человек свободен, свободен абсолютно и безусловно, жизнь-эгрегор от него ничего не требует и не навязывает, она наполняет человека собой, даром и ничего не спрашивая взамен. Художник замирает в восхищении перед грандиозностью поступи жизни, перед её «великим безразличием» ко всему, к абсолютно всему, что она собой наполняет.

Жизнь везде, всегда, во всём – «одна и та же жизнь»! Эта наполненность не может не веселить! Этот триумф не может не восхищать! Эта беспредельная свобода и человека, и всего сущего окрыляет и наполняет русского богатырской силой.

Каждое слово Н. В. Гоголя пронизано этими высокими чувствами. Без понимания этого – глубокого, древнерусского восприятия и переживания стихии жизни, этого «мирового эфира», истинное понимание Гоголя невозможно; без «торжества жизни» теряется решающая основа творчества и самой жизни великого русского писателя.

Н. В. Гоголь – поэт старого, древнего, русского «света»; светящейся внутренней сути как действующий причины наличного, актуального, всё ещё явленной в «дрязге существования». Именно поэтому его влияние на Россию было так сильно: каждый, от императора до наборщика типографии, читая Гоголя, узнавал себя «молодым, живым, весёлым человеком». Каждый русский переживал, узнавал себя русским, даже не отдавая себе отчёта в том, что с ним происходит.

*«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее, горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветренник – ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»*

Мы так уже привыкли к таким описаниям, что проскакиваем мимо них как замысленных. Да, поэтичного, да, вдохновенного, да, торжественного, но в то же время – слишком привычного сентиментального словесного описания, требующего для своего восприятия от читателя, как нам кажется, некоторого воображения, некоторой несовременно развитой впечатлительности.

Сегодня такая литература не воспринимается нами непосредственно, живьём, как есть, иначе бы и мы, и критики, обратили бы внимание на то, что описание Н. В. Гоголем и летнего дня, и летней ночи порождено не его воображением, не его чувствительностью, не тонкостью и поэтичностью его впечатлительности, а совершенно другим, более всеобъемлющим и глубоким, что мы как раз можем и должны чувствовать в себе во время чтения как происходящий сдвиг, как оживающее в нас восхищение этим миром, всем, что ни есть в нём.

Это рождающееся в нас восприятие и переживания мира как живого целого находится очень глубоко и нелегко приходит в движение, но, когда приходит, не заметить его невозможно даже для человека невосприимчивого и толстокожего.

Это всё ещё живущий в нас дух древней русской культуры – восприятие и переживание мира как живого необъятного величия и торжества – действительная живая основа нашей души. Удивительная способность Гоголя передать, выразить, запечатлеть, насколько это вообще возможно человеку, несомненно в полноте испытываемое им самим, – восприятие и переживание единства всего сущего, живого единства «всего что ни есть», стала настоящей причиной того, что каждый русский человек, читавший сам или слышавший читаемые ему повести Гоголя, невольно! переполнялся оживающим в нём древним русским наследием – радостью, веселием, торжеством.

Впечатление – сильное, последствия – разные, уникальные. Как именно потом этот русский читатель воспринимал себя таким «невольнo ожившим», во время чтения и после него, это важно, но не первостепенно; первым же и решающим является то, что он невольнo оживал как русский, как принадлежащий континууму русской культуры. Даже современный читатель, оснащенный внушительным арсеналом всевозможных средств обращения с текстом и с самим собой как читающим, не может избежать этого, оживая так же, как и русский человек начала XIX века, хоть незначительно и почти для себя незаметно и неощутимо. По крайней мере, пока он ещё культурно русский, то есть живущий в доминирующих матрицах русской культуры, в которой одной из основных является именно матрица единства всего живого, триумфа самой жизни как демиурга. Современники Н. В. Гоголя, не имевшие ещё нынешнего объёма опыта чтения и в этом смысле более восприимчивые и, следовательно, более беззащитные, гораздо легче, глубже, основательнее, можно сказать даже – полностью, попадали под влияние его прозы, невольнo и нечаянно для себя воссоздавая это уникальное целостное наследие нашей культуры.

Понимание этого существенно и обязательно для литературоведов. Н. В. сам это очень хорошо знал и неоднократно говорил о том, что его основной жизненный, научный, общественный, публицистический и литературный интерес заключается именно в глубоком, тщательном и всестороннем изучении, раскрытии и оживлении! древней, старой культуры, «русского старого света». Это в полной мере стало базовым содержанием его жизненного служения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.